

рый он осуществил в своей критической философии? Не случайно возникновение кантовского критицизма и ныне представляется неким загадочным чудом, появлением „бога из машины”, а вопрос о его источниках и предпосылках остается предметом активного обсуждения и неослабевающей полемики в мировом кантоведении. Содержание этой полемики, ее противоречивый характер и длительная история также в значительной степени повлияли на выбор темы нашего исследования, а главное определили его теоретическое ядро и проблемную направленность, равно как и принципы отбора и подхода к рассматриваемому материалу.

Здесь необходимо сделать важное примечание, точнее – напоминание, дабы избежать некоторых недоразумений, которые могут возникнуть у читателя. Дело в том, что предлагаемая работа является прямым продолжением или второй частью нашей монографии „Немецкая философия эпохи раннего Просвещения [конец XVII - начало XVIII вв.]” (М.: Наука, 1989). В ней был дан достаточно подробный анализ монадологии Лейбница и метафизики Вольфа, рассмотрены основные принципы и противоречия их учений, а также показаны весьма существенные, даже принципиальные различия между ними, крайне важные для понимания последующей истории философской мысли в Германии. В монографии был также прослежен процесс зарождения основных направлений немецкой философии XVIII столетия, таких как пиетизм, спинозизм, материализм, атеизм и др. Особое внимание было уделено наследию Э.В. фон Чирнхауза и Хр. Томазия, с именами которых связано формирование двух ведущих тенденций или линий немецкой просветительской философии, а именно теоретико-методологической, ориентированной на проблематику научного познания, уяснение его логических, математических и экспериментальных методов, с одной стороны, и эмпирико-психологической или популярно-просветительской, с другой, ориентированной преимущественно на анализ чувственного познания и эмпирического знания, уяс-

нения их источников, закономерностей и т.п. Однако помимо этой гносеологической проблематики в последней линии особое место уделялось проблемам человека, анализу его внутреннего мира и непосредственных практических потребностей, вопросам его воспитания и образования и обширному кругу других вопросов, связанных с задачами просветительского движения и мировоззрения. Развитие этих линий, их взаимодействие друг с другом и совместная оппозиция метафизике Вольфа, как мы увидим далее, сыграли важную роль для последующего распада вольфовской школы, а также оказали заметное влияние на всю историю немецкой философской и просветительской мысли XVIII века, во многом определили ее проблемное содержание, характер и эволюцию развития.

Для анализа нашей темы представляются небезынтересными те оценки, которые давались ведущими деятелями немецкой классической философии своим непосредственным предшественникам, коллегам и соотечественникам. Здесь обнаруживаются довольно любопытные вещи, в частности, тот факт, что одним из родоначальников уничижительного отношения к немецкой философии века Просвещения был никто иной как Гегель. Считая ее основной чертой попытки эклектического смешения локковского эмпиризма и здравого смысла, опыта и обыденного рассудка, он оценивал ее как нечто скучное и бессодержательное, скудное и вялое по мысли [16, с. 364-365, 400]. Такой негативизм гегелевских оценок был следствием его исходной философской установки, согласно которой докантовский период немецкой философии рассматривается им как исключительное господство рассудочного мышления, как торжество абстрактного и формального рационализма вольфовской метафизики, неспособного достичь диалектического единства или тождества противоположностей посредством спекулятивного или позитивно-разумного мышления [16, с. 400; 19, с. 206-211, 266-267]. На основе такого абстрактно-умозрительного противопостав-

ления рассудочно-метафизического и диалектического способов мышления Гегель дает весьма беглый и поверхностный очерк историко-философского процесса в Германии XVIII века, подвергая его весьма искусственной, а во многом и искаженной реконструкции. В результате едва ли не все мыслители того времени оказались у него причисленными к сторонникам и последователям рационалистической метафизики Вольфа, включая даже тех, чьи воззрения сформировались в принципиальной оппозиции и острой конфронтации с вольфианством (например, Крузий, Тетенс и др.) [16, с. 364-365]. До крайности обеднив сложный и многоплановый процесс исканий немецкой мысли и подчинив ее глубокое и противоречивое проблемное содержание упрощенной и предвзятой логической схеме, Гегель, по существу, оставил в стороне вопрос об источниках и предпосылках кантовского критицизма, ограничившись замечанием, что собственную философию Кант „создал в борьбе с Вольфом и Юмом” [18, т. 2, с. 558].

Следует, впрочем, отметить, что во многих неясностях и недоразумениях, существующих в вопросе о генезисе критической философии, в немалой степени был повинен сам Кант. Более того, известную лепту он внес и в формирование традиции негативно-пренебрежительного отношения к своим непосредственным предшественникам и современникам.

Дело в том, что подготовив основной текст первого издания „Критики чистого разума” за какие-то девять месяцев, „как бы на ходу” (точнее, „в полете” – „im Fluge”), [48, с. 551], Кант „выдал” читателю зрелый, готовый продукт предшествующей внутренней и многолетней мыслительной работы. „Упаковав” этот результат в весьма жесткую и искусственную структуру, в форму причудливой логической конструкции, в крайне сложную и своеобразную систему аргументации и доказательств, выполненных с помощью специфического понятийно-терминологического аппарата, Кант начисто „снял” всю черновую работу, весь

процесс вызревания и становления основных идей и понятий своей „Критики”. Не случайно в Предисловии к ее первому изданию он отмечает, что вынужден был ограничиться „сухим, чисто схоластическим изложением” материала и „счел нецелесообразным еще более расширить его примерами и пояснениями”, которые были приведены „в соответствующих местах” „в первом наброске” сочинения [47, т. 3, с. 79]. Но уже два года спустя Кант с горечью констатирует факт глубокого непонимания „Критики”, связанного с тем, что его книга „суха, темна, противоречит всем привычным понятиям” [47, т. 4, ч. 1, с. 75]. Он попытался исправить эти недостатки в „Пролегомнах”, где представил сжатое и популярное изложение главных пунктов „Критики...” Однако и в предисловии ко второму изданию Кант вновь вынужден был говорить о реальной опасности непонимания, о недоразумениях в оценках своей книги, возникших по его собственной вине [47, т. 3, с. 100-103].

Еще более показательным, что глава „История чистого разума”, где он касается тех мыслителей, которые дали ему проблемный толчок и чьи идеи послужили поводом для осуществленного им переворота в метафизике, занимает всего лишь три страницы текста. Рассматривая свой критицизм в контексте всей мировой истории философии — от античности до Нового времени, Кант, по существу, не затрагивает проблемы его генезиса, а точнее сводит ее к абстрактному противопоставлению критицизма всей предшествующей философской традиции. В составе же последней он усматривает всего лишь оппозицию между интеллектуалистами или ноологистами и сенсуалистами или эмпириками, с одной стороны, и между догматиками и скептиками, с другой; причем все их попытки „доставить полное удовлетворение человеческому разуму” оказались, по его мнению, „безуспешными”, а „открытым остается только критический путь” [47, т. 3, с. 692-695]. Каким же путем вышел на этот „путь” он сам, что подвело или подтолкнуло к его открытию — этого вопроса Кант по сути дела не касается.

В тексте „Критики” крайне редко встречаются упоминания имен мыслителей прошлого, но особенно малочисленны ссылки на своих немецких коллег – непосредственных предшественников и современников, (исключение составляют только Лейбниц и Вольф). Даваемые же им оценки не отличаются точностью и обоснованностью и, как верно отмечал Г.Коген, зачастую носят случайный и внешний характер, в силу чего по ним невозможно составить адекватное и исчерпывающее представление о предпосылках критицизма [142, с. 3, 26]. Более того, в дальнейшем изложении мы покажем, что и в других работах, письмах, черновых набросках его отзывы и оценки предшественников далеко не всегда справедливы, а порой двусмысленны и противоречивы: их преувеличенная комплиментарность в одних случаях резко контрастирует с критическими и даже пренебрежительными оценками – в других (например, Ламберта и Тетенса. „Философские опыты” последнего, как известно, лежали на столе Канта во время работы над „Критикой”, однако, в последней нет ни одного упоминания о Тетенсе, хотя влияние некоторых его идей достаточно очевидно).

Канта трудно, однако, заподозрить в неискренности или неуважении к своим коллегам; аналогичное невнимание и неуважение он проявил и по отношению к самому себе, к работам своего докритического периода, составившего добрую половину его творческой деятельности. В трудах зрелого, критического периода он практически не возвращается к своим ранним сочинениям, что в немалой степени способствовало возникновению абстрактного и упрощенного противопоставления этих периодов, к непониманию внутренних и глубинных, косвенных и прямых, негативных и позитивных связей и опосредований между ними. В критической философии можно обнаружить немало элементов не только анонимной самокритики идей раннего периода, но и следов их прямого заимствования, продолжения и развития. Главное же заключается в том,

что именно ранние работы Канта дают обширный и неопенимый материал, позволяющий проследить эволюцию его философских воззрений, воссоздать процесс вызревания и становления основных идей критицизма. С точки зрения заявленной нами темы, не менее важным моментом является то, что процесс этот протекал в прямой связи, зависимости или полемике с идеями его непосредственных предшественников и современников и представлял собой относительно самостоятельную, но органическую составную часть общего процесса философских исканий немецких мыслителей века Просвещения, которые в свою очередь были выражением проблемной и даже кризисной ситуации, сложившейся в европейской философии к середине XVIII столетия.

В ранних трудах Кант несравнимо чаще апеллирует к именам и идеям своих коллег, оппонентов или единомышленников, спорит или соглашается с ними по тем или иным конкретным вопросам и именно в этих как бы совместно поставленных и обсуждаемых вопросах можно обнаружить ключ к основным проблемам и идеям критической философии. Работы докритического периода дают богатейший материал для их сравнительного анализа с понятиями и принципами критического периода, для уяснения их непосредственных исторических и теоретических источников и предпосылок, для реконструкции процесса их становления и развития. Такой анализ позволяет обнаружить и наглядно показать тот факт, что многие общие установки, основные принципы и конкретные понятия критической философии возникли из прямой и косвенной полемики Канта со своими непосредственными предшественниками и современниками, были результатом рецепции или переработки поставленных ими проблем, сформулированных ими идей и понятий.

Достаточно сказать, что даже такое, казалось бы, сугубо кантовское понятие как понятие непознаваемой и аффицирующей нашу душу вещи в себе или его идеи отно-

сительно конструктивной природы чувственного познания и активно-синтетической деятельности рассудка, образующие ядро „Трансцендентальной эстетики” и „Аналитики” в „Критике чистого разума”, в немалой степени были развитием, продолжением и углублением соответствующих идей и понятий Лейбница, Вольфа, Баумгартена, Рюдигера, Крузия, Тетенса, Ламберта и др. Аналогичные связи, опосредования и даже прямые зависимости имеют место и в других критических работах мыслителя.

Такого рода сравнительный анализ необходим прежде всего для того, чтобы в какой-то мере преодолеть специфические сложности овладения материалом критической философии, устранить многочисленные недоразумения и противоречия, которые возникают при непосредственном восприятии текстов Канта и связаны с особенностями его понятийного аппарата и терминологии (не всегда корректной, а порой и небрежной), а также с причудливой, искусственной, необычной, а местами и неадекватной формой построения, структурирования системы чистого разума. Поразительная разноголосица как в общих оценках кантовского наследия, так и в понимании его конкретных понятий и идей объясняется не только богатством и глубиной содержания его критицизма. Они связаны и с той элементарной неадекватностью восприятия, которая неизбежна при попытках его прочтения и освоения с „чистого листа”, где его исторические корни, проблемно-теоретические истоки отрезаны или переработаны до неузнаваемости, замурованы в броню „трансцендентальных дедукций” и „истолкований”, зашифрованы или скрыты за терминологическими изысканиями и новациями и т.д.

В силу этого становится понятным, почему исследование генезиса кантовского критицизма выделилась в самостоятельную отрасль кантоведения. Причем многие из исследователей склонны даже считать, что он возник не в результате последовательного и рационального движения мысли, а как осуществленный гениальной личностью не-

постижимый и иррациональный скачок [183, с. 298]. Даже такой серьезный исследователь, как Э.Кассирер, внесший огромный вклад в анализ скрытых в „Критике” мотивов и проблем предшествующей философской мысли, считает, что в своем „существенном содержании” кантовская философия не обладает никакой историей, объясняет себя из самой себя, полностью разрывает с докритическим периодом развития мыслителя и противостоит прошлому как нечто совершенно новое и своеобразное [134, т. 2, с. 585]. Недостаток подобных трактовок состоит в том, что в них новаторство Канта рассматривается чрезмерно абстрактно, внеисторически, сводится к „личному вкладу” мыслителя, а тем самым смазывается и проблемно-содержательная новизна этого вклада. Действительно революционный и творческий характер осуществленного Кантом переворота может быть адекватно понят и по достоинству оценен только на фоне того состояния философского мышления и в контексте той реальной ситуации в его развитии, которые и послужили объективной предпосылкой, исходным проблемным импульсом „коперниканской революции”, толчком к осознанию необходимости осуществления радикальных изменений в философии.

Более того, как мы покажем далее, новаторство Канта в значительной мере было именно развитием и углублением тех идейных процессов и проблемных исканий, которые уже имели место в немецкой философии середины XVIII столетия. Однако в исследовательской, а тем более популярной литературе, эти процессы зачастую воспринимаются и оцениваются исключительно в той понятийной форме и проблемной формулировке, в которых сам Кант их осмыслил и эксплицировал в своих критических работах, сквозь призму его весьма специфических, не всегда корректных и адекватных оценок и восприятий этих событий. А это, в свою очередь, отрицательно сказывается на объективности и исторической конкретности их анализа, на аутентичности понимания реальных процессов в фило-

софской мысли того времени и действительного места, занимаемого в них Кантом.

Выше мы отмечали, что свою критику разума Кант рассматривает в контексте всей предшествующей истории философии от Платона и Аристотеля до Лейбница и Локка, связывая с их именами основные направления или „различия в идее, которые были поводами к основным переворотам в метафизике” [47, с. 693-694]. У Канта, конечно, имелись основания для такого глобального противопоставления своего критицизма всей философской мысли прошлого, однако, и в главе „История чистого разума”, в обоих предисловиях к „Критике” и во многих других ее разделах, он противопоставляет свой „критический путь” именно вольфовскому догматизму и юмовскому скептицизму, как главным тенденциям или доминирующим особенностям философской мысли того времени [47, т. 3, с. 73-74, 98-99, 107, 117, 630-637, 695 и др.]. Такая историческая конкретизация начала „подлинного века критики” и открытия им „критического пути” была далеко не случайной; в ней нашло отражение вполне реальная проблемная ситуация, дана специфическая оценка того кризисного состояния, которые закономерно возникли и объективно существовали в европейской философии в середине XVIII века. Назвав Вольфа „величайшим из всех догматических философов”, а Юма „самым проникательным из всех скептиков” [47, т. 3, с. 99, 633], Кант был совершенно прав в том отношении, что в наследии именно этих мыслителей развитие традиционного, классического рационализма и сенсуализма нашло свое наиболее полное, последовательное и методологически осмысленное воплощение, но вместе с тем — и завершение. Парадокс заключался в том, что сознательно и однозначно следуя исходным установкам и принципам рационалистической и эмпирико-психологической гносеологии, делая из них все необходимые выводы, оба мыслителя вольно или невольнo, даже вопреки своему желанию или сознательному намерению, обнару-

жили, а точнее, — обнажили какую-то странную, но неустрашимую противоречивость используемых ими установок.

Рационалистическая метафизика Вольфа и скептицизм Юма стали фактической демонстрацией того, что большинство основных понятий, служащих исходными предпосылками научного и даже обыденного знания, образующих их, казалось бы, надежный и достоверный фундамент, на самом деле отнюдь не являются таковыми. „Вдруг” обнаружилось, что понятия разума и опыта, человеческой души и внешнего, телесного мира, формы рационального, понятийного мышления и чувственного познания, и т.п. сами по себе не могут быть ни доказаны, ни обоснованы посредством рассудочного мышления и эмпирического наблюдения, т.е. на основе принципов и методов рационалистической и сенсуалистической гносеологии.

Законы и методы логического и математического мышления, способы и формы чувственного познания, столь эффективно работающие в теоретическом и экспериментальном естествознании, в конкретных науках, оказались недостаточными и даже несостоятельными для философского объяснения и обоснования научного знания, возможности достижения объективного и достоверного познания. Вместе с тем, в рамках рационалистической метафизики выяснилось, что все попытки обоснования понятий человеческой души и телесного мира, разума и чувственно-данной действительности, их соответствия друг другу и т.д. неизбежно приводят к понятиям, которые противоречат как методам, так и результатам научного познания и являются всего лишь неправомерными догматическими допущениями или постулатами (бытия бога, чудесного акта творения им действительного мира, предустановленной гармонии и т.п.).

Не менее парадоксальная и тупиковая ситуация сложилась в русле эмпирической традиции и, прежде всего, в юмовском скептицизме, возникшего в значительной мере в качестве реакции на догматическую метафизику с ее